

Предисловие

Книга эта мной давно задумана. Замысел книги мне представляется своеобразным. Книжки, написанные о себе, очень эгоцентричны. В литературе «воспоминаний» это часто раздражает. Автор вспоминает о других людях и событиях и говорит больше всего о себе. Есть несколько типов книг, написанных о себе и своей жизни. Есть, прежде всего, дневник, который автор вел из года в год, изо дня в день. Это очень свободная форма, которую сейчас особенно любят французы. «Дневник» Амиеля — самый замечательный образец этого типа, из более новых — *Journal* А. Жида. Есть исповедь. Блаженный Августин и Ж. Ж. Руссо дали наиболее прославленные примеры. Есть воспоминания. Необъятная литература, служащая материалом для истории. «Былое и думы» Герцена — самая блестящая книга воспоминаний. Наконец, есть автобиография, рассказывающая события жизни внешние и внутренние в хронологическом порядке. Все эти типы книг хотят с большей или меньшей правдивостью и точностью рассказать о том, что было, запечатлеть бывшее. К бывшему принадлежат, конечно, и мысли и чувства авторов. Моя книга не принадлежит вполне ни к одному из этих типов.

Я никогда не писал дневника. Я не собираюсь публично каяться. Я не хочу писать воспоминаний о событиях жизни моей эпохи, не такова моя главная цель. Это не будет и автобиографией в обычном смысле слова, рассказывающей о моей жизни в хронологическом порядке. Если это и будет автобиографией, то автобиографией философской, историей духа и самосознания. Воспоминание о прошлом никогда не может быть пассивным, не может быть точным воспроизведением и вызывает к себе подозрительное отношение. Память активна, в ней есть творческий, преображающий элемент, и с ним связана неточность, неверность воспоминания. Память совершает отбор, многое она выдвигает на первый план, многое же оставляет в забвении, иногда бессознательно, иногда же сознательно. Моя память о моей жизни и моем пути будет сознательно активной, то есть будет творческим усилием моей мысли, моего познания сегодняшнего дня. Между фактами моей жизни и книгой о них будет лежать акт познания, который меня более всего и интересует. Гёте написал книгу о себе под замечательным заглавием «Поэзия и правда моей жизни». В ней не все правда, в ней есть и творчество поэта. Я не поэт, я философ. В книге, написанной мной о себе, не будет выдумки, но будет философское познание и осмысливание меня самого и моей жизни. Это философское познание и осмысливание не есть память о бывшем, это есть творческий акт, совершаемый в мгновении настоящего. Ценность этого акта определяется тем, насколько он возвышается над временем, приобщается ко времени экзистенциальному, то есть к вечности. Победа над смертоносным временем всегда была основным мотивом моей жизни. Книга эта откровенно и созна-

тельно эгоцентрическая. Но эгоцентризм, в котором всегда есть что-то отталкивающее, для меня искупается тем, что я самого себя и свою жизненную судьбу делаю предметом философского познания. Я не хочу обнажать души, не хочу выбрасывать вовне сырьем своей души. Эта книга по замыслу своему философская, посвященная философской проблематике. Дело идет о самопознании, о потребности понять себя, осмыслить свой тип и свою судьбу. Так называемая экзистенциальная философия, новизна которой мне представляется преувеличенной, понимает философию как познание человеческого существования и познание мира через человеческое существование. Но наиболее экзистенциально собственное существование. В познании о себе самом человек приобщается к тайнам, неведомым в отношении к другим. Я пережил мир, весь мировой и исторический процесс, все события моего времени как часть моего микрокосма, как мой духовный путь. На мистической глубине все происшедшее с миром произошло со мной. И настоящее осмысливание заключается в том, чтобы понять все происшедшее с миром как происшедшее со мной. И тут я сталкиваюсь с основным противоречием моей противоречивой натуры. С одной стороны, я переживаю все события моей эпохи, всю судьбу мира как события, происходящие со мной, как собственную судьбу, с другой стороны, я мучительно переживаю чуждость мира, далекость всего, мою неслиянность ни с чем. Если бы я писал дневник, то, вероятно, постоянно записывал в него слова: «Мне было это чуждо, я ни с чем не чувствовал слияния, опять, опять тоска по иному, по трансцендентному». Все мое существование стояло под знаком тоски по трансцендентному.

Мне пришлось жить в эпоху катастрофическую и для моей родины, и для всего мира. На моих глазах рушились целые миры и возникали новые. Я мог наблюдать необычайную превратность человеческих судеб. Я видел трансформации, приспособления и изменения людей, и это, может быть, было самое тяжелое в жизни. Из испытаний, которые мне пришлось пережить, я вынес веру, что меня хранила Высшая Сила и не допускала погибнуть. Эпохи, столь наполненные событиями и изменениями, принято считать интересными и значительными, но это же эпохи несчастные и страдальческие для отдельных людей, для целых поколений. История не щадит человеческой личности и даже не замечает ее. Я пережил три войны, из которых две могут быть названы мировыми, две революции в России, малую и большую, пережил духовный ренессанс начала XX века, потом русский коммунизм, кризис мировой культуры, переворот в Германии, крах Франции и оккупацию ее победителями, я пережил изгнание, и изгнанничество мое не кончено. Я мучительно переживал страшную войну против России. И я еще не знаю, чем окончатся мировые потрясения. Для философа было слишком много событий: я сидел четыре раза в тюрьме, два раза в старом режиме и два раза в новом, был на три года сослан на север, имел процесс, грозивший мне вечным поселением в Сибири, был выслан из своей родины и, вероятно, закончу свою жизнь в изгнании. И вместе с тем я никогда не был человеком политическим. Ко многому я имел отношение, но, в сущности, ничему не принадлежал до глубины, ничему не отдавался вполне, за исключением своего творчества. Глубина моего существа всегда принадлежала

чему-то другому. Я не только не был равнодушен к социальным вопросам, но и очень болел ими, у меня было «гражданское» чувство, но в сущности, в более глубоком смысле, я был асоциален, я никогда не был «общественником». Общественные течения никогда не считали меня вполне своим. Я всегда был «анархистом» на духовной почве и «индивидуалистом».

Книга моя написана свободно, она не связана систематическим планом. В ней есть воспоминания, но не это самое главное. В ней память о событиях и людях чередуется с размышлением, и размышления занимают больше места. Главы книги я распределил не строго хронологически, как в обычных автобиографиях, а по темам и проблемам, мучившим меня всю жизнь. Но некоторое значение имеет и последовательность во времени. Наибольшую трудность я вижу в том, что возможно повторение одной и той же темы в разных главах. Единственное оправдание, что тема вновь будет возникать в другой связи и другой обстановке. Я решаюсь занять собой не только потому, что испытываю потребность себя выразить и отпечатлеть свое лицо, но и потому, что это может способствовать постановке и решению проблем человека и человеческой судьбы, а также пониманию нашей эпохи. Есть также потребность объяснить свои противоречия. Такого рода книги связаны с самой таинственной силой в человеке, с памятью. Память и забвение чередуются. Я многое на время забываю, многое исчезает из моего сознания, но сохраняется на большей глубине. Меня всегда мучило забвение. Я иногда забывал не только события, имевшие значение, но забывал и людей, игравших роль в моей

жизни. Мне всегда казалось, что это дурно. В памяти есть воскрешающая сила, память хочет победить смерть. Но наступало мгновение, когда я вновь вспоминал забытое. Память эта имела активно-преобразующий характер. Я не принадлежу к людям, обращенным к прошлому, я обращен к будущему. И прошлое имеет для меня значение как чреватое будущим. Мне не свойственно состояние печали, характерное для людей, обращенных к прошлому. Мне свойственно состояние тоски, что совсем иное означает, чем печаль. Я человек более драматический, чем лирический, и это должно отпечатлеться на моей автобиографии. Думая о своей жизни, я прихожу к тому заключению, что моя жизнь не была жизнью метафизика в обычном смысле слова. Она была слишком полна страстей и драматических событий, личных и социальных. Я искал истины, но жизнь моя не была мудрой, в ней не господствовал разум, в ней было слишком много иррационального и нецелесообразного. Светлые периоды моей жизни чередовались с периодами сравнительно темными и для меня мучительными, периоды подъема чередовались с периодами упадка. Но никогда, ни в какие периоды я не переставал напряженно мыслить и искать. Наиболее хотел бы я воскресить более светлые и творческие периоды моей жизни. Хотел бы я, чтобы память победила забвение в отношении ко всему ценному в жизни. Но одно я сознательно исключаю, я буду мало говорить о людях, отношение с которыми имело наибольшее значение для моей личной жизни и моего духовного пути. Это понятно. Но память наиболее это хранит и хранит для вечности. Марсель Пруст, посвятивший все свое творчество проблеме

времени, говорит в завершительной своей книге *Le temps retrouvé*: «J'avais trop expérimenté l'impossibilité d'atteindre dans la réalité ce qui était au fond moi-même»¹. Эти слова я мог бы взять эпиграфом к своей книге. То, о чем говорит Пруст, было опытом всей моей жизни. Противоречив замысел моей книги уже потому, что самый скрытный человек пытается себя раскрыть. Это очень трудно. Дискретность не позволяет мне говорить о многом, что играло огромную роль не только во внешней, но и во внутренней моей жизни. С трудом выразима та положительная ценность, которая получена от общения с душой другого. С трудом выразим и скрытый трагизм жизни.

Несмотря на западный во мне элемент, я чувствую себя принадлежащим к русской интеллигенции, искавшей правду. Я наследую традицию славянофилов и западников, Чаадаева и Хомякова, Герцена и Белинского, даже Бакунина и Чернышевского, несмотря на различие мирозерцаний, и более всего Достоевского и Л. Толстого, Вл. Соловьева и Н. Федорова. Я русский мыслитель и писатель. И мой универсализм, моя вражда к национализму — русская черта. Кроме того, я сознаю себя мыслителем аристократическим, признавшим правду социализма. Меня даже называли выразителем аристократизма социализма. Мной руководило желание написать эту книгу с наибольшей простотой и прямоотой, без художественного завуалирования. То, что носит характер воспоминаний и является биографическим материалом, написано у меня сухо и часто схематично. Эти части книги мне нужны были для описания раз-

¹ «Я никогда не достигал в реальности того, что было в глубине меня» (фр.).

ных атмосфер, через которые я проходил в истории моего духа. Но главное в книге не это, главное — самопознание, познание собственного духа и духовных исканий. Меня интересует не столько характеристика среды, сколько характеристика моих реакций на среду.

Писано в Clamart и Pilat-plage в 1940 году.

Глава I

ИСТОКИ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ. Я И МИРОВАЯ СРЕДА. ПЕРВЫЕ ДВИГАТЕЛИ. МИР АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ

Истоки человека лишь частично могут быть поняты и рационализированы. Тайна личности, ее единственности, никому не понятна до конца. Личность человеческая более таинственна, чем мир. Она и есть целый мир. Человек — микрокосм и заключает в себе все. Но актуализировано и оформлено в его личности лишь индивидуально-особенное. Человек есть также существо многоэтажное. Я всегда чувствовал эту свою многоэтажность. Огромное значение имеет первая реакция на мир существа, в нем рождающегося. Я не могу помнить первого моего крика, вызванного встречей с чуждым мне миром. Но я твердо знаю, что я изначально чувствовал себя попавшим в чуждый мне мир, одинаково чувствовал это и в первый день моей жизни, и в нынешний ее день. Я всегда был лишь прохожим. Христиане должны себя чувствовать не имеющими здесь пребывающего града и града грядущего взыскующими. Но то первичное чувство, которое я здесь описываю, я не считал в себе христианской добродетелью и достижени-

ем. Иногда мне казалось, что в этом есть даже что-то плохое, есть какой-то надлом в отношении к миру и жизни. Мне чуждо было чувство вкорененности в землю. Мне более свойственно орфическое понимание происхождения души, чувство ниспадания ее из высшего мира в низший.

И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

У меня никогда не было чувства происхождения от отца и матери, я никогда не ощущал, что родился от родителей. Нелюбовь ко всему родовому — характерное мое свойство. Я не люблю семьи и семейственности, и меня поражает привязанность к семейному началу западных народов. Некоторые друзья шутя называли меня врагом рода человеческого. И это при том, что мне очень свойственна человечность. У меня всегда была мучительная нелюбовь к сходству лиц, к сходству детей и родителей, братьев и сестер. Черты родового сходства мне представлялись противоречащими достоинству человеческой личности. Я любил лишь «лица необщее выражение». Но ошибочно было бы думать, что я не любил своих родителей. Наоборот, я любил их, считал хорошими людьми, но относился к ним скорее как отец к детям, заботился о них, боялся, чтобы они не заболели, и мысль об их смерти переживал очень мучительно. У меня всегда было очень слабое чувство сыновства. Мне ничего не говорило «материнское лоно», ни моей собственной матери, ни матери-земли. Мать моя была очень красива, ее считали даже красавицей. В 50 лет она была еще очень красивой женщиной. Но я никогда не мог открыть в себе ничего похожего

на Эдипов комплекс, из которого Фрейд создал универсальный миф. Родство всегда казалось мне исключаяющим всякую влюбленность. Предмет влюбленности должен быть далеким, трансцендентным, не похожим на меня. На этом ведь был основан культ «прекрасной дамы». Я русский романтик начала XX века.

По своему происхождению я принадлежу к миру аристократическому. Это, вероятно, не случайно и наложило печать на мою душевную формацию. Мои родители принадлежали к «светскому» обществу, а не просто к дворянскому обществу. В доме у нас говорили главным образом по-французски. Родители мои имели большие аристократические связи, особенно в первую половину жизни. Эти связи были частью родственные, частью по службе моего отца в кавалергардском полку. В детстве мне было известно, что мои родители были друзья обергофмейстерины княгини Кочубей, которая имела огромное влияние на Александра III. Дворцовый комендант, генерал-адъютант Черевин, тоже близкий Александру III, был товарищем моего отца по кавалергардскому полку. Со стороны отца я происходил из военной семьи. Все мои предки были генералы и георгиевские кавалеры, все начали службу в кавалергардском полку. Мой дед М. Н. Бердяев был атаманом Войска Донского. Прадед генерал-аншеф Н. М. Бердяев был новороссийским генерал-губернатором. Его переписка с Павлом I была напечатана в «Русской старине». Отец был кавалергардским офицером, но рано вышел в отставку, поселился в своем имении Обухове, на берегу Днепра, был одно время предводителем дворянства, в Турецкую войну опять поступил на военную службу, потом в течение 25 лет был председателем прав-

ления Земельного банка Юго-Западного края. У него не было никакой склонности делать карьеру, и он даже отказался от чина, который ему полагался за то, что более двадцати пяти лет он был почетным мировым судьей. Я с детства был зачислен в пажи за заслуги предков. Но так как мои родители жили в Киеве, то я поступил в Киевский кадетский корпус, хотя за мной осталось право в любой момент быть переведенным в пажеский корпус. Мать моя была рожденная княжна Кудашева. Она была полуфранцуженка. Ее мать, моя бабушка, была графиня Шуазель. В сущности, мать всегда была более француженка, чем русская, она получила французское воспитание, в ранней молодости жила в Париже, писала письма исключительно по-французски и никогда не научилась писать грамотно по-русски, будучи православной по рождению, она чувствовала себя более католичкой и всегда молилась по французскому католическому молитвеннику своей матери. Я шутя ей говорил, что она никогда не перешла с Богом на «ты». Интересно, что у меня была бабушка монахиня и прабабушка монахиня. Мать моего отца, рожденная Бахметьева, была в тайном постриге еще при жизни моего деда. Она была близка к Киево-Печерской лавре. Известный старец Парфений был ее духовником и другом, ее жизнь была им целиком определена. Помню детское впечатление. Когда умерла бабушка и меня привели на ее похороны, мне было лет шесть, я был поражен, что она лежала в гробу в монашеском облачении и ее хоронили по монашескому обряду. Монахи пришли и сказали: «Она наша». Бабушка моей матери, княгиня Кудашева, рожденная княжна Баратова, стала после смерти мужа настоящей монахиней. У меня и в советский период висел ее большой пор-